



Электронная библиотека  
Гражданское общество в России

---

**Х. М. Росалес**

Воспитание гражданской  
идентичности: об отношениях  
между национализмом  
и патриотизмом

Электронный ресурс

URL: <http://www.civisbook.ru/files/File/1999-6-11-Rosales.pdf>

URL: <http://www.civisbook.ru>

## **ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НАЦИОНАЛИЗМОМ И ПАТРИОТИЗМОМ**

**Х.М. Росалес**

“Именно при республиканском правлении возникает необходимость во всей власти воспитания”. В отличие от деспотических форм властвования, в которых порядок устанавливается путем устрашения подданных, а нехватку свободы смягчают с помощью жестов благосклонности, в республике гражданская добродетель является главным, если не единственным, источником легитимации политического режима. Это условие превращает гражданскую добродетель в хрупкую, но одну в своем роде альтернативу, которая делает возможным опыт свободы во всей его полноте. Никакая другая форма правления, утверждал Монтескье, не нуждается в воспитании практики “политической добродетели”, ибо эта последняя, по его словам, определяется “любовью к законам и отечеству”. Таким образом, только справедливый порядок способен воспитать совершенного гражданина на опыте “отказа от себя самого” и “постоянного предпочтения общественного интереса” (1, IV, с.266-267).

Однако та же самая формула — “любовь к законам и отечеству”, — которая в республиканском коде отсылает нас к конституции и к системе собственно республиканских институтов, может быть истолкована в националистических понятиях как любовь к нации — то есть любовь к родовому сообществу. Такое сообщество нужно только признавать, притом почти безоговорочно. Выходит так: если к идее общего происхождения добавить идею общей судьбы, невзирая на то, что подобное сочетание подчинилось бы волевым желаниям, нетрудно представить себе политические возможности [использования] национального чувства. Это с одной стороны.

С другой — республиканское, равно как и националистическое, воспитание требует от гражданина “отказа от себя самого” как условия для жизни в сообществе. Импликации такого отказа могут быть одинаковыми: ведь “постоянное предпочтение общественного интереса” — результат свободного выбора индивидов. При этом обустройство публичной сферы и ее институтов уже не имеет принципиального значения. Таким образом, если республиканский политический проект приобретает универсалистский характер, то националистический пытается сконструировать институциональную систему в соответствии с моделью гомогенного сообщества.

В первом случае нормативные предпосылки модели включают нас в республиканскую политическую традицию: гражданская идентичность выступает результатом конституционного проекта. В этом смысле речь идет о сконструированной идентичности. Между тем национальная идентичность тоже сконструирована. И обе они, в свою очередь, отсылают нас к опыту в высшем смысле партиципативной, даже уравнительной, политики, только с разными последствиями для политического сообщества. Если конституционное измерение позволяет нам все-таки провести дифференцированный нормативный анализ, то в плане практической политики (законотворчества, институтов, публичной политики в целом) мы вынуждены рассматривать всю неоднозначную совокупность взаимоотношений между обеими традициями.

Процесс сближения и дифференциации характеристик республиканского патриотизма и национализма обуславливает весь процесс воспитания гражданской идентичности. Историю этой существующей по сей день напряженности отношений между республиканским патриотизмом и национализмом можно проследить на протяжении более двух веков, прошедших со времен либеральных революций конца XVIII в. Последствия такой

напряженности выражаются в непреодолимых противоречиях, но также дают обнадеживающие шансы для построения модели демократической гражданственности. Обсуждение всего этого — цель настоящей работы. В первую очередь я обозначу значение современных национализма и республиканства в контексте конституционной истории. Во второй части статьи — подберу аргументацию по конституционному воспитанию гражданственности, которая будет основана на новых логических посылах современного столкновения национализма и республиканства, с тем чтобы доказать пригодность модели гражданства республиканского типа для интерпретации в понятиях космополитизма.

## **I. ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКОГО ОПЫТА**

Ханна Питкин в своей превосходной работе о значении конституции представила точные термины для дискуссии о гражданской лояльности. Питкин различает два толкования самой идеи конституции. Согласно первому, конституция являет собой базовые нормативные рамки гражданской жизни. И именно это конституирует политическое сообщество как определенную совокупность граждан. Однако такая конституция не является окончательной, что следует из второй ее интерпретации. Конституции, указывает Питкин, “делаются”. Конституция политического сообщества отражает непрерывный процесс обретения гражданского опыта, участия граждан в коммунитарной жизни (2). Конституция в своих качествах “фундаментальной структуры” и гражданского творения отражает, следовательно, генезис и динамику опыта самоуправления или политического самоконституирования гражданства. С этими двумя нерасчленимыми гранями (аспектами) конституции и связана гражданская лояльность — создание исходного консенсуса вокруг проекта политического сообщества и согласие с результатами его институционализации.

Такое смысловое различие содержит в себе, вместе с тем, нормативную и практическую релевантность. Если относительно второго аспекта мы говорили о гражданском осуществлении конституции, то в течение предыдущей фазы на кон ставятся именно возможные условия конституционного порядка. Это обязывает организовать вокруг конституционного проекта возможно более широкий и интегрированный консенсус общественных групп, по-разному истолковывающих проект. Исторически теория [общественного] договора предполагала даже единодушие по данному базовому соглашению. Руссо, например, видел необходимость такого единодушия только по отношению к первоначальному, конституирующему общность как таковую, соглашению, понимая под единодушием нормативное, а не фактическое представление о контурах политического порядка. И наоборот, политическая конституция гражданского общества не могла бы осуществиться, исходя из идентичного условия. Нужно, чтобы с ее содержанием уже непосредственно согласились граждане (3). Эта вторая форма гражданской лояльности легитимизирует на практике ассоциативную модель гражданства, намеченную в первоначальном договоре.

Единодушие вокруг конститутивного соглашения не конвертируется, однако, в неизменяемую позицию. Его нормативный смысл сводится к рамочным правилам, которые задают схему конструирования системы институтов, поскольку вряд ли осуществима преемственность между первоначальным договором и его материализацией собственно в политической жизни. Более того, конституционные возможности самого соглашения могут быть малоспособны политически оформлять жизнь сообщества. Именно в случаях коллизий между конституцией и политической реальностью можно увидеть, действительно ли согласие граждан с продолжающим формироваться проектом. Изменения параметров этого согласия позволяют нам реконструировать “гражданскую культуру”, которую генерирует опыт жизни при конституционном порядке в конкретном политическом сообществе.

Однако не только это. Исследования по гражданской культуре позволяют соотнести воздействие участия граждан в политической жизни — будь то в рамках государственных институтов или в гражданском обществе — на функционирование политической системы и, в конце концов, на ее выживание в таком виде (4). По данной причине гражданское участие — показатель ценностных предпочтений и интересов индивидов. Гражданская культура, не будучи единственным фактором социальной легитимации режима, отражает, тем не менее, легитимирующий потенциал опыта политического участия, что происходит, без сомнения, в силу повышения ответственности самих граждан. Это одно из жизненно важных свойств демократий. Если сопоставить фактор ответственности с идеей конституции как процесса гражданского самоуправления, можно сделать заключение о том, что демократический конституционализм в самом полном его смысле превращается в гаранта партиципативной модели гражданства (5).

Эта глубинная связь между политическим опытом и жизнью конституции — та же самая, что была основой первого опыта республиканства еще во времена Рима: опыта гражданского самоуправления. Он был восстановлен в XI — XII вв. в независимых итальянских республиках и, начиная с XIII в., в кантональном управлении Швейцарской конфедерации. Первые подобные прецеденты подтверждают осуществимость классического идеала демократического сообщества. Однако современному республиканству приходится сталкиваться с новым свойством политики: сама идея политического сообщества утратила свою ориентацию на локус и соотносится уже с системой институтов многосоставного общества. Новое условие гражданства теперь увязывается с его универсалистской и разноплановой романской моделью.

Именно на этих предпосылках основывается современное республиканство — от традиций гражданского республиканства Возрождения, в частности идей Макиавелли, до трудов Монтескье, Руссо и Канта. Уже Монтескье, например, указывал на пригодность республиканской модели для управления федерацией государств (“федеративная республика”), ибо таким образом гарантировалась бы эффективность административного управления малыми республиками и политическая безопасность крупных монархий (1, IX, с.369-370). Но только в XVIII в., после Американской и Французской революций, данное сочетание приобретет форму либерального конституционализма, позволяя с тех пор институционально обустроить новые республики. Если Американская революция показала, что возможно сочетать на практике управление многосоставным обществом с развитием разных формул гражданского участия, для чего понадобилось революционное же преобразование принципа представительства, то Французская революция позволила продвинуться еще дальше по этому уже открытому направлению перемен. Ее конституционный опыт соединил принципы трех традиций: равновесие республиканских властей, отделение государства от гражданского общества (в т.ч. для защиты либеральных свобод граждан) и, наконец, гражданский универсализм первого национализма.

Результаты этого сочетания вдохновляли либеральные конституционные проекты вплоть до середины XIX в., причем не только в Европе. Осуществимость либерального конституционализма (по преимуществу реформистского, а не революционного характера) была подтверждена переносом его принципов обратно на американский континент, что свидетельствовало о целесообразности универсализации либерализма. Это был опыт фундаментального значения, когда независимые государства Латинской Америки воспроизвели в своих конституционных текстах самое передовое на тот период совмещение либерализма с республиканскими принципами политики. Данные акты восприняли также универсалистские принципы первого революционного национализма: нация граждан, объединяющая в себе патриотов конституции.

Эволюционировала, однако, и националистическая традиция, та самая, которая, начиная с середины XIX в., проявляла свою возрастающую несовместимость с либеральным конституционализмом. Следовало бы посмотреть к последнему обстоятельству, ибо несмотря на то, что матрица гражданского универсализма сохранилась в демократических конституциях XX в., из них, как оказалось, исчезли даже следы национализма. Более того, националистическая традиция по-разному развивалась по обеим сторонам Атлантического океана: если в Латинской Америке национализм до сих пор не отделился от всех своих универсалистских корней, то в Европе он вообще утратил первичную универсалистскую идентичность. Различия, между тем, продолжали сокращаться, вплоть до того, что артикуляция национализма в конституциях воспринимается уже в обоих случаях одинаково — как угроза.

Конституционная инженерия вписала новую главу в историю националистического конституционализма в ходе событий в Центральной и Восточной Европе начиная с 1989 г., и это было очень похоже на методы законотворчества деколонизировавшихся стран Африки. Однако этот опыт можно оценить двояко, что еще раз подтверждает труднейшую задачу примирения революционного конституционализма, пропитанного новаторским партиципативным опытом политики, и национализма с жестко этнической ее интерпретацией (6). Конституционным проектам новых демократий не удалось освободиться от этой напряженной коллизии двух исходных принципов.

## **II. НАЦИОНАЛИЗМ, КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО**

В Центральной и Восточной Европе, равно как и в Латинской Америке, на первый план обсуждений конституционных проектов вышли споры о модели отношений между исполнительной и законодательной властями. Дело заключалось не только в определении разумного институционального равновесия. Ведь от начертанных в нормативном тексте условий создания либо президенталистской системы, либо парламентской демократии непосредственно зависит стабильность самого политического режима. Это обстоятельство ясно прослеживалось в 1980-е годы на примерах латиноамериканских демократических переходов от диктатур: парламентские демократии показали себя более управляемыми режимами, нежели президенталистские порядки (7). Не менее значимую роль играл выбор дизайна избирательной системы — пропорциональный или мажоритарный принцип, так как при любом из обоих подходов требовалось самым эффективным образом направить в единое русло возникающий при переходных процессах плюрализм (8). Истинная подоплека споров по поводу избирательных систем состояла в том, что в них воспроизводилось — в ином, правда, контексте — беспокойство относительно возможностей выразить националистические настояния в условиях нового политического порядка.

Вместе с тем этот опыт позволяет извлечь еще один урок. В конечном счете все наработки конституционной инженерии оказались весьма ограничены в главном — они не могли гарантировать управляемость. И наоборот — подтвердилась роль гражданского общества в качестве мощного фактора консолидации демократии. Если уже сложилось такое более или менее сплоченное, автономное по отношению к государству общество, именно оно становилось наилучшей гарантией продолжения осуществления демократического проекта. Поскольку переход к основанному на свободах порядку требует почти одновременного “запуска” целой серии других транзитов (социального, экономического и т.д.), то и отклик всех групп граждан в их совокупности на начатые преобразования окажет решающее влияние на продление этих процессов.

Вне всякого сомнения, переход к демократии не может не травмировать, ведь он навязывает повышенные издержки в силу необходимости социальной и рыночной перестройки, а также адаптации политических и иных институтов. И эту тяжкую цену платят непосредственно индивиды — и как потребители, и как граждане. Таким образом, после всеобщей эйфории на первой фазе изменений очень вскоре ощущается истощение гражданской энергии, ибо люди практически сразу сталкиваются с трудностями переходного процесса. Среди возникающих проблем одна из ключевых обусловлена ожиданиями, связанными с политическим преобразованием: переход к демократии означал для гражданского сообщества прежде всего удобный случай установить наконец порядок, опирающийся на свободы. Столкновение же с реальностью подвергает испытанию и стойкость надежд, и способность гражданского общества к инновациям. Во время острого кризиса разочарование граждан оборачивается вполне логичными последствиями. Опыт показывает, что именно в таких обстоятельствах делается выбор либо в пользу продолжения проекта реформ, либо, напротив, люди от него отказываются ради воскресшей готовности жить при старых порядках.

Если проследить путь латиноамериканских демократий к консолидации, то можно оценить, насколько сильно заключенные в процессе переходов 1980-х годов пакты между защитниками демократии и “инволюционистами” (т.е. группами сторонников возвращения к прежнему режиму) влияют на моделирование политической ситуации и в конце XX в. Это не перестает удивлять, тем более что 20 лет назад баланс между ними все-таки сместился в пользу демократов. Парадоксально, что управляемость продолжала зависеть от уступок большинства угрожающему меньшинству, добившемуся законодательно признанного иммунитета (9). Исследования, однако, чем дальше, тем больше обнаруживают корреляцию, существовавшую между поверхностной (“чехольчатой”) институционализацией демократии и незрелостью гражданского общества. В то же время наблюдается смягчение драматизма этой коллизии из-за появившихся признаков упрочения позиций ассоциативной культуры (10).

Равным образом, кризисный сценарий процессов перехода к демократии в Центральной и Восточной Европе (в течение 1990-х годов) определялся открытой напряженностью между искушением регресса, “рентабельного” для националистических партий, с одной стороны, и ставкой реформистских и либеральных партий на углубление изменений — с другой. При выборе в пользу первого варианта (“инволюция”) демократизаторский эксперимент гражданского общества воспринимался как подлинная угроза старым, или естественным, свободам, а демократическая риторика оставалась без внимания, будучи воспринятой как некая электоральная реклама. Признание второго варианта — углубления реформ, — напротив, целиком и полностью зависело от степени признания данной идеи гражданским обществом.

Разница в поддержке гражданами той или иной политической опции помогает понять фазы такого напряженного противостояния. Если на первых выборах в начале 1990-х годов реформаторские инициативы добились явного успеха, то итоги избирательных кампаний второй половины этого десятилетия отразили крутой поворот в отношении к курсу реформ. Тогда сформировать правительства удалось социалистическим и некоммунистическим партиям, обещавшим придержать реформаторский порыв и даже остановить его (11). Испытанию, между тем, подверглись как раз организационные способности гражданского общества. Правда, некоторые симптомы указывали на его растущую самостоятельность. Однако именно на данной фазе перехода отчетливо проявила себя необходимость увязать стремление к реформам, стимулировавшееся гражданским обществом, с реформистской моделью публичной политики (не обязательно неолиберальной), предложенной новоизбранными правительствами.

Общее у самых различных вариантов опыта демократизации — растущее вовлечение гражданского общества в сферу публичной политики. Вполне вероятно, что это и стало ключевым фактором демократической консолидации. И по самому существенному основанию — в меру способности данного общества распорядиться своими гражданскими ресурсами. Множественные звенья гражданского общества, часть которых связана с государственными институтами, со временем вырабатывают партиципативную гражданскую культуру, новую для социумов, долго находившихся под властью диктатур. Но эта культура участия пока воспринимается как новшество даже в консолидированных либеральных демократиях — в силу своего гражданского ассоциативного потенциала, который постепенно превращается в альтернативу традиционной партийной системе (правда, не исключая ее вовсе).

Это вмешательство гражданского общества (понимаемого в качестве социума, внутренне самоорганизованного и автономного по отношению к государству) в сферу государственной политики преобразовало модус самого политического действия, которое традиционно направлялось через систему партий. Иными словами, существует столько путей для гражданского участия, сколько есть инстанций, принимающих решения. Новая сеть ассоциаций показала себя гораздо более гибкой и продуктивной для восприятия и выражения требований всего общества. Тем самым гражданское общество, будучи полем демократического экспериментирования и агентом институционального новаторства, проявило себя как отправная «площадка» любого проекта реформ. Отсюда следует, что эволюция этого общества подтверждает его решающее значение для определения проекта государственной политики и ее последующей оценки.

Более того, гражданская культура указанного общества не сводится исключительно к партиципативной. Чтобы вписаться в рыночное пространство, ей нужно стать культурой соревнования между его акторами, ибо все ресурсы, включая гражданские, подчинены императивам рынка. И либеральный, и социал-демократический проекты политики ратуют за справедливое распределение основных ресурсов между индивидами. Каждый из них предлагает разные типы вмешательства государства и самого гражданского общества в распределение ресурсов, но оба подразумевают, что развитие плюрализма могло бы благоприятствовать равенству возможностей. Ассоциации гражданского общества, в конце концов, не являются тождественными, но это уравновешивается их инклюзивным принципом (имеется в виду их способность свободно, без лишних осложнений включать в свой состав новых членов. — *Пер.*) функционирования. Они открыты, и именно подобная открытость определяет существование таких ассоциаций в динамическом пространстве, которое интегрирует (хотя не в смысле уравнивания, и отсюда — соревновательности) плюрализм жизненного выбора и интересов гражданского общества.

Данный плюрализм невозможно свести к меньшему числу различий, именно поэтому он и является признаком, наилучшим образом характеризующим свойства открытости и новаторства гражданского общества. Демократия не может отстраниться от поддержки усилий как по институциональному экспериментированию (через увеличивающееся разнообразие предлагаемых гражданским обществом формул для управления общественными ресурсами), так и по социальной легитимации гражданского участия. Это последнее, разумеется, есть гражданская культура демократической конституции, та самая, что подтверждает согласие граждан с системой гражданских и политических институтов демократии.

### **III. ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ**

Здесь следует вернуться к поставленному в начале статьи вопросу о гражданской лояльности, исходя из двух соображений. Во-первых, идея

гражданской лояльности включает в себя неразделимые измерения — эмоциональное и рациональное. Во-вторых, относительно своего объекта — нации или конституции — гражданская лояльность означает поддержку, тоже эмоциональную и рациональную, той или другой. Значит, мы можем говорить о национальной идентичности (связанной с опытом национализма) и о конституционной идентичности (воспроизводящей эмпирию патриотизма). Оба изъяснения лояльности не исключают друг друга и до известной степени способны быть взаимодополнены, что мы и увидим ниже. Значит, их базовое различие коренится не в формировании идентичности, а в ее политическом выражении и, в специфическом смысле, в истолковании границ политического сообщества. Определение дистанции между эмоциональным измерением гражданской лояльности и опытом политики позволит оценить различия между национализмом и патриотизмом или, более конкретно, между национализмом и гражданским республиканством.

Начну с национальной идентичности, чтобы обозначить ее отличия от конституционной. По утверждению Э.Смита, национальная идентичность может быть понята только как результат взаимодействия между этническими и политическими компонентами (12, с.1-18). Исследования этого автора по “исторической социологии национальной идентичности” при реконструкции генезиса наций, начиная от их предшественников в этнических общностях, показали основательную связь между формами этнической идентичности досовременного происхождения и национальными идентичностями современности.

Самым значимым в данном процессе было проследить сохранение этнических элементов в символическом универсе нынешней национальной идентичности, которые ее превратили в несомненно новую реальность, однако вряд ли развивавшуюся по какому-то единому образцу. Наоборот, уточняет Смит, национальная идентичность включает своих этнических или культурных предшественников в собственно политическую конфигурацию. Ее современное содержание есть результат сложного сочетания традиции с альтернативными характеристиками договорной природы, которые задают политические идентичности. В данной связи надо понимать, что национальная идентичность предполагает в равной мере как культурную, так и политическую идентичность. Эта вторая констатация (если вернуться уже к моей) указывает на сложнейшие отношения сходства и расхождения между национальной и конституционной идентичностями.

Поэтому предложенное Смитом разграничение между восточной, или этнической, моделью нации (как культурным сообществом, сформированным *естественным* образом индивидами, родившимися в его границах) и западной, или гражданской, моделью, которая трактует нацию в терминах политического сообщества, созданного *договорным* путем, не скрывает, однако, наличие их общих “фундаментальных” черт: историческая легитимность занимаемой территории; совокупность легенд и традиций в качестве опоры коллективной идентичности; опыт общественной жизни и правовой культуры, придающий каждому сообществу его институциональную конфигурацию; и наконец, развитие экономической системы, позволяющей опознать сообщество и его членов в их отношениях с внешним миром.

Но в то же время это аналитическое разделение выявляет “отсутствие соответствия” между государством и нацией: между унитарной системой институтов первого и множеством национальных идентичностей, которые сосуществуют на единой для всех территории (12, с.8-15, 123 и след.). Действительно, мы знаем, что подавляющее большинство современных государств многонациональны. И не напрасно идея о наличии соответствия между нацией и государством больше отражает *desideratum* [желаемое]



националистической аргументации, нежели реальный процесс столкновения и антагонизма между нациями при создании государств.

Я уже показал, что базовое различие между национальной и конституционной идентичностями было в сущности различием собственно институциональным, которое влияло на конфигурацию политического сообщества, а национальное сознание — источник процесса идентификации и дифференциации в жизни таких сообществ. И все это проистекает из опыта, опирающегося на множественность коллективных идентичностей, ведь именно он способствует социализации индивидов. По своей внутренней сущности национальная идентичность связывает признающих ее людей, которые воспитываются в рамках всеми ими разделяемого опыта, основа которого — общие ценности и жизненные формулы. Именно эта культурная идентификация отличает индивидов и сообщества друг от друга, хотя политическая ценность различия, по крайней мере в конституционном государстве, сочетается с политической ценностью гражданской общности.

Во внешних отношениях с другими сообществами национальная идентичность представляет собой ключевой фактор, который выделяет данное сообщество не только по этнополитическим соображениям, но также в экономическом и торговом смысле. В любом случае, принимая за данность многонациональность современных государств, как во внутреннем, так и во внешнем плане гражданская сплоченность политических сообществ, обычно составленных из множества национальных общностей, проявляется как результат сложного процесса артикуляции различий самих граждан. В рамках же институтов конституционного государства решающий фактор, консолидирующий национальные идентичности, имеет не этнонациональную, а политическую или договорную природу.

Этот политический субстрат отличает гражданскую республиканскую традицию, которую символизирует патриотизм, от национализма. Помимо всего прочего, по крайней мере начиная с современной эпохи, национализм и патриотизм воспринимаются только исходя из их взаимоотношения. У. Коннор очень точно описал это: патриотизм (как согласие с конституцией и институциональной системой) и национализм (как согласие с культурной традицией какого-то политического сообщества) представляют собой два базовых измерения гражданской идентичности (13). Их релевантность проявляется не только на поле ценностных предпочтений, а непосредственно отражается в политике, поскольку именно в соответствии с этими измерениями строится модель гражданства.

Ради аналитических соображений обычно противопоставляют националистическую модель гражданства, основанную на *jus sanguinis*<sup>\*</sup>, которая толкует его условия в этнических терминах, и конституционную модель, ориентированную на *jus soli*<sup>\*\*</sup>, что выражено в понятиях, связанных с договором. Действительность же значительно сложнее, поскольку, несмотря на то, что общие для этих моделей основания сложились во второй половине XVIII в., преобладающая часть современных статутов гражданства исходит из обеих традиций, однако не в равной мере (см.: 14). Тем не менее эволюция либеральной модели гражданства в демократиях в последние годы XX столетия шла в ситуации растущей напряженности между обеими гражданскими традициями.

Гражданство определяет возможность доступа к участию в управлении политическим сообществом. Правда, в западных обществах благосостояния социальные и культурные права распространяются и на неграждан. Вместе с тем не перестает удивлять, что даже если подобное происходит по гуманитарным мотивам и особенно в связи с поддержкой негражданами сообщества своими налогами, то разные варианты политики натурализации все время ужесточают

правила причисления тех же самых индивидов-неграждан к сообществу граждан. По меньшей мере два соображения могли бы помочь проанализировать эту неувязку: одно из них связано с эволюцией либеральной модели гражданства, а второе — с соотношением между нормативами данной модели и их воплощением на практике.

Начну с того, что эклектические первоосновы либеральной (или демолиберальной) модели гражданства в конечном счете привели к разъединению (хотя и не до полного раскола) двух ее компонентов — республиканско-либерального с его открытым универсалистским характером и националистического с присущим ему сепаратизмом. При генезисе этой модели гражданства как раз националистический компонент был фактором дифференциации политических идентичностей, так что изначально баланс был в его пользу. Далее статут гражданства принимал параметры, исходя из нашего понимания нации-государства. Но даже самым либеральным или республиканским моделям гражданства вменяется в вину искажение данного равновесия.

Эта тенденция подтверждается примером сравнения форм национализма в Европе в начале и в конце XX в. Окончание первой мировой войны ознаменовалось распадом Австро-Венгерской империи с ее многоэтнической государственностью, что вызвало к жизни целую серию националистических движений в Центральной и Восточной Европе. После второй мировой войны условия примирения потребовали глубокой перекройки политических границ. 50 годами позже необходимость реформировать политическую геометрию вновь натолкнулась на две модели государственности: одна из них — договорная и полиэтническая, а другая исходила из принципа соответствия между культурой либо нацией и государством. В этой тенденции больше всего беспокоит даже не предполагаемая делимитация внешних границ, а то, что в каждом государстве снова открылись дискуссии о критериях принадлежности к данному сообществу, т.е. дискуссии, казалось бы, давно забытые в плюралистических демократиях.

Такие споры подвергли испытанию демократическую связь между нормативным содержанием демолиберального гражданства, универсалистской и инклюзивной моделью гражданского плюрализма, с одной стороны, и новейшей тенденцией к ужесточению политик натурализации в европейских демократиях, которые сокращают набор условий для получения гражданства, — с другой. Ведь, согласно второму соображению, политики натурализации определялись моделью неизменного и относительно гомогенного сообщества, которого уже не существует.

Новый плюрализм, порожденный миграционными потоками внутри Европы и извне ее с юга и востока, с 1980-х годов изменил культурные и гражданские параметры либеральных политий. В ответ те, кто решает вопросы политики [предоставления] гражданства, восприняли как покушение на управляемость политическими сообществами вызовы со стороны этого нового мультикультурного и полиэтнического плюрализма. Основным “достижением” ужесточения правил натурализации стало углубление раскола между гражданами и негражданами (15). Парадоксально, но все это делалось во имя демократической (!) управляемости. В какой мере это положение можно изменить и, в свою очередь, какая альтернативная модель способна была бы переопределить условия включения в демократическое сообщество?

#### **IV. УСЛОВИЯ КОСМОПОЛИТИЗМА**

Ответ на первый из поставленных в начале статьи вопросов, с одной стороны, требует рассмотрения самой узловой проблемы: влечет ли за собой повышенная инклюзивность политического сообщества (т.е. его открытость, способность включать в свой состав все новых и новых граждан) обесценивание

статусных прав гражданства. И, с другой стороны, возникает связанная с первой проблема целостности политического сообщества перед натиском нового плюрализма. В наших попытках ответить на оба вопроса-вызова мы увидим и обнадеживающие, и весьма неприятные знаки, свидетельствующие о своеобразии, мягко говоря, новейшей эволюции гражданского общества. Имеются в виду, по крайней мере, гражданские общества с довольно высоким уровнем внутренней автономии, которые способны стать полем для политического экспериментирования.

Речь идет о том, что именно происходит в либеральных демократиях, развитие гражданских обществ которых разрушило традиционную границу между публичной (пространство почти исключительного действия государственных институтов) и частной (пространство развертывания гражданского общества, традиционно отождествляемое с рыночным) сферами (16). Наблюдая этот процесс выхода гражданского общества за пределы своих привычных функций, с каждым разом нужно все искуснее пояснять — в терминах *противопоставления* гражданского общества и государства, — что теперь представляют собой публичная сфера и различные институты, предназначенные для переговоров и принятия решений. Если отталкиваться от указанного противопоставления, то мы получаем выводы, которые уже не отражают действительности, и нежизнеспособный на практике проект публичной политики.

И наоборот, благодаря развитию плюрализма его способность служить интегратором гражданского общества с успехом вынесла испытание на прочность. Все больше расширяющая свой охват, растущая динамика гражданского плюрализма не только преобразовала традиционную публичную сферу (и политики тоже), но и революционизировала пространство прав людей. Под нажимом гражданского плюрализма форсировалось признание — пока общественное, хотя еще не конституционное — так наз. прав третьего поколения, т.е. в основе своей прав коллективных. Первые случаи согласия с ними отнюдь не девальвировали статут гражданского состояния, в конституционном плане связанный с индивидуальными правами.

Сверх того, эксперимент по расширению описываемого пространства прав людей приобрел также универсалистскую направленность, признаваемую либеральным конституционализмом с самых его истоков. Важность подобного эксперимента состоит в подтверждении возникновения (по меньшей мере в зачаточном состоянии) того, что можно назвать *гражданским универсализмом*, а это уже открывает возможность универсалистского распространения прав гражданства. Не следует забывать, что по понятиям самых блестящих революционеров прошлых веков права гражданства принадлежат каждому индивиду в силу его единственного не изменяющегося никогда статуса — статуса человека. Пока еще рано говорить о мировом гражданском обществе, обрисованном в проектах республиканского космополитизма мыслителями от Канта до Дарендорфа. Однако информационное преобразование публичной сферы, которое, разрушив физические барьеры, создает условия для потенциально безграничного интерактивного пространства, позволяет уже наметить некоторые характеристики мирового гражданского сообщества.

Новый плюрализм и его артикуляция в глобальной общественной среде распространяются поверх границ традиционных политических сообществ, даже несмотря на то, что пока опираются на их институты. Однако создаются новые институты и новые сценарии политического действия. Центр тяжести управляемости начал перемещаться от органов каждого государства к наднациональным инстанциям. В пересекающихся пространствах доказывают свои операциональные возможности интерактивные сети зарождающегося мирового гражданского общества (17). Причем дело складывается так, что уже не говорят об угрозе целостности традиционных политических сообществ — она просто перестает быть политическим приоритетом. Ведь границы этих сообществ

теперь продолжают в новом глобальном публичном пространстве. Это последнее лишено институтов, которые бы сделали его похожим на мировое правительство, и сегодня даже нет признаков того, что оно приобретет такие институты. Вместе с тем гражданское общество не прекращает поставлять разные опыты управления ресурсами и самоуправления индивидов<sup>\*\*\*</sup>.

Вместе с тем налицо неувязка как раз между демолиберальным статусом гражданства и условиями для осуществления гражданских прав, которые намечает возникающее мировое гражданское общество. Нация-государство не перестало и не перестанет быть базовым референтным институтом по признанию статуса гражданина, но его универсалистская либо космополитическая эволюция (вместе с бьющей ключом активностью коллективов граждан — партий, профсоюзов, гражданских движений, неправительственных организаций, групп давления, — предполагающей их консолидацию на политической сцене) позволяет задуматься о разумной возможности универсалистского изменения статуса гражданства. А это начнется с развития его инклюзивного потенциала.

Идея космополитической гражданской идентичности, наследовавшая опыт республиканского патриотизма, подкрепила бы рациональность такого изменения в той мере, в какой стала бы выражением гражданской лояльности, преодолевающей узы нации-государства. Пространство ее осуществления обусловлено новой моделью политического сообщества, плюралистического в самом сильном и широком смысле, иными словами, сообщества, конституированного взаимосвязью разных других общностей. Исходя из этого, я ответил бы так на второй из поставленных в начале статьи вопросов: переопределение условий доступа в демократическое сообщество предполагало бы уже некоторые операции с параметрами (информационными и политическими) преобразованного, *постнационального* демократического сообщества (19).

Правда, что подобное, едва намечающееся сообщество лишено базовой нормативной программы, которая позволила бы вписать его в какой-то политический проект. Прежде всего, нет доказательств жизнеспособности космополитического (или постнационального) сообщества. Как раз в этом отношении, однако, нужно учитывать прошлые альтернативные опыты политики в гражданском обществе. Новый конституционный патриотизм мог бы выразиться в оформлении конституции мировой политики. Подобный вопрос пока не возник, но, тем не менее, отнюдь не кажется совершенно невозможным уже начинать воспитывать в парадигме опыта гражданского космополитизма. Ведь эмоциональная и рациональная гражданская лояльность — в проекте либо космополитического гражданского общества, либо, в конце концов, в какой-нибудь форме плюралистического политического сообщества — по-прежнему функционирует как базовое условие. Значение данной лояльности как гражданского признания универсалистского опыта политики — в ее способности соединиться с идеей конституционного патриотизма. В действительности, это был бы последний довод в копилку космополитической аргументации.

1. Montesquieu. De l'esprit des lois. — *Oeuvres complètes*, vol. II, P., 1951.
2. Pitkin H.F. The idea of a constitution. — "Journal of Legal Education", 1987, № 3, p.167-169.
3. Rousseau J.-J. Du contrat social, I. — *Oeuvres complètes*, vol. III, P., 1964, p.359-362. См. по этому вопросу комментарий: Carracedo J.R. *Democracia o representación? Poder y legitimidad en Rousseau*. Madrid, 1990, p.59-66.
4. Эту продуктивную линию сравнительных исследований можно проследить по: Almond G., Verba S. *The civic culture: political attitudes and democracy in five countries*. Princeton, 1963. Проект был пересмотрен и дополнен в серии других работ этих авторов по сравнительной политологии до 1980-х годов: Idem. *The civic*

*culture revisited*. Boston, 1980. По поводу актуализации дискуссии можно проконсультироваться с коллективной монографией: Castillo P., Crespo I. *Cultura política: enfoques teóricos y análisis empíricos*. Valencia, 1997.

5. Preuß U.K. *Revolution, Fortschritt und Verfassung. Zu einem neuen Verfassungsverständnis*. Frankfurt/Main, 1994, S.99-122.

6. С некоторыми из этих импликаций можно ознакомиться в сборнике работ: Preuß U.K. (ed.) *Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen*. Frankfurt/Main, 1994. Особенно четкой представляется работа самого редактора: Der Begriff der Verfassung und ihre Beziehung zur Politik, S.7-33. Для сравнения с “новым конституционализмом” можно проконсультироваться: Häberle P. Verfassungsentwicklungen in Osteuropa — aus der Rechtsphilosophie und der Verfassungslehre. — *Europäische Rechtskultur: Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten*. Baden-Baden, 1994, S.101-148.

7. Linz J.J., Valenzuela A. (eds.) *The Failure of presidential democracy: the case of Latin America*. Baltimore, 1994.

8. Lijphart A., Waisman C. (eds.) *Institutional design in new democracies: Eastern Europe and Latin America*. Boulder, 1996.

9. Можно ознакомиться с предпосылками этой аргументации в сборнике: Alcántara M., Crespo I. (eds.) *Los límites de la consolidación democrática en América Latina*. Salamanca, 1995.

10. Это доказывают, в частности, материалы спецвыпуска: Avritzer L. (ed.) *Civil society in Latin America*. — “*Constellations*”, 1997, vol. 4, № 1.

11. Обзор этой дискуссии см.: González Enríquez C. (comp.). *Transición, democracia y mercado en Europe del Este*. — “*Zona abierta*”, 1995, № 72/73. См. также: Flores Juberías C. (dir.). *Las nuevas instituciones políticas de la Europa Oriental*. Madrid, 1997; Wiatr J.J. (ed.). Elections and parliaments in post-communist East Central Europe. — “*International Political Science Review*”, 1997, vol. 18, № 4.

12. Smith A.D. *National identity*. L., 1991.

13. Connor W. *Ethnonationalism: the quest for understanding*. Princeton, 1994, p.195-209.

14. Пример компаративного исследования французского и немецкого случаев, которое выделяет различия между договорной и этнической моделями гражданства и национальности см.: Brubaker R. *Citizenship and nationhood in France and Germany*. Cambridge MA-L., 1992, p.1-17, 75-84. Вероятно, еще более ясную в сравнительном смысле панораму см.: Safran W. Citizenship and nationality in democratic systems: approaches to defining and acquiring membership in the political community. — “*International Political Science Review*”, 1997, № 18, p.313-335.

15. См.: Hammar Th. (ed.) *European immigration policy: a comparative study*. Cambridge, 1985; см. также досье: L'Europe et ses immigrés. — “*L'Événement Européen*”, 1990, №11. Полезны и работы: Remiro Brotóns A. Unión Europea: sólo cabezas rapadas frente a inmigrantes bravos? — Lamo de Espinosa E. (ed.). *Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa*. Madrid, 1995, p.151-196; Schnapper D. The European debate on citizenship. — “*Daedalus*”, 1997, vol. 126, № 3, p. 199-222.

16. Giner S. Civil society and its future. — Hall J.A. (ed.). *Civil society: theory, history, comparison*. Cambridge, 1995, p.301-325; idem. Sociedad civil. — Díaz E., Ruiz Miguel A. (eds.). *Filosofía política II: Teoría del Estado*. Madrid, 1996, p.117-145.

17. Параметры этого нового сценария были отлично проанализированы в: Castells M. *The information age: economy, society and culture*. Oxford, 1996-1998, 3 vols.

18. См.: Falk R. *On human governance: toward a new global politics*. Cambridge, 1995, p.104-133.

19. Rosales J.M. *Política cívica: la experiencia de la ciudadanía en la democracia liberal*. Madrid, 1998, p.223-233, 260 ss.: см. также: Soysal Y.N. *Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europa*. Chicago-L., 1994, p.136-167.

\* Право крови, т.е. право приобретения гражданства по гражданству родителей.

\*\* Право почвы, т.е. право приобретения гражданства по месту рождения.

\*\*\* Р.Фэлк в своем докладе для "Проекта моделей мирового порядка" назвал этот феномен "демократизирующим императивом" (см.: 18).